

мировоззрения писателя, которые свершились в последние годы его жизни.

Вместе с пьесой найдена и рукопись завершеного рассказа С. Исакова «Среди покоя». Она датирована автором 20/XII—20 г. Это были последние месяцы жизни писателя, период, в который им созданы, помимо упомянутой пьесы, повесть «Голгофа» и рассказ «Без имени» — последнее опубликованное при его жизни произведение, удостоенное в 1920 году премии на литературном конкурсе в Барнауле.

В рукописи рассказа «Среди покоя» можно прочитать и зачеркнутые автором другие варианты названия: «Исцеление духа», «Кусок жизни». Ни под одним из этих названий рассказ никогда не публиковался и совершенно незнаком исследователям творчества С. Исакова. Между тем он представляет несомненный интерес.

Его сюжетом стали воспоминания писателя о поездке в Горный Алтай, видимо, последней, весной 1919 года, о встречах в пути. В рассказе есть и прямые реминисценции из раннего произведения С. Исакова, рассказа «Там, в горных долинах» — история любви солдатки Натальи, камнем-«щербношкой» прокалывающей ногу любимому, чтобы он не ушел от нее, и вошедшая в пьесу «Красные орлы» страшная повесть о похоронах колчаковцами под поповскую «аллилуйю» живого человека. Ненависть и презрение к колчаковским «возрожденцам старой России» звучат и в этом произведении С. Исакова. Измученная перенесенными ужасами белогвардейского террора душа писателя тянется к родной природе Алтая, к его простым людям, словно ища «исцеления духа». «Ведь и во времена инквизиции, — пишет он, — люди находили удовольствие жить и даже знавали счастье».

Счастья не было. Вслед за смертью первой жены у С. И. Исакова в 1920 году один за другим погибли от воспаления легких два его сына. Неизлечимой оказалась и его собственная прогрессирующая болезнь — туберкулез. И все же писатель не сдается, как никогда,

много работает, мечтает о будущем. «Моя фантазия бедна, но и она уносит меня за пределы предельного», — пишет С. Исаков в рассказе «Среди покоя». И с ним можно согласиться, прочитав хотя бы такую бесхитростную, «бедную» фантазию: «Алло! Сан-Франциско. Из Читы прибыл дредноут воздушного плавания L-62»...

Лишь пять лет спустя в Барнаул прилетел первый двухместный пассажирский самолет, который был использован для учебно-показательных целей. Откуда же залетел в воображение провинциального писателя этот межконтинентальный «дредноут»? Да еще именно с порядковым номером нынешнего воздушного лайнера ИЛ-62, обслуживающего трансконтинентальные линии?! Разумеется, это всего лишь поразительное совпадение, угадывание, но до чего же любопытно заглянуть в мысли фантаста 1920 года!

К слову сказать, в упомянутой Исаковым Чите годом раньше появилось стихотворение С. М. Третьякова, которое называлось... «Ту!»

Ту!
Полетим в высоту!
Чтобы в синем величии
Угадать голоса всякие птички...

Поистине — «за пределы предельного»!

И как же не вспомнить тут еще раз известные слова А. М. Горького: «Чем лучше мы будем знать прошлое, тем лучше, тем более глубоко и радостно поймем великое значение творимого нами настоящего».

В полной мере относятся эти слова и к творчеству Степана Ильича Исакова, чьи лучшие произведения надо обязательно собрать и выпустить отдельной книгой — в этом давно назрела необходимость.

Ал. Раннопорт

Степан ИСАКОВ

СРЕДИ ПОКОЯ

РАССКАЗ

Сегодня в полдень стоял последний сугробик в саду. Я стоял в стороне и не мешал солнцу делать свое дело; я и не помогал ему, а только стоял и смотрел, как умирает зима.

А потом, когда от сугробика осталось одно воспоминание, да немного пара, да еще темное мокренькое местечко, я отметил на садовом столике дату: «21 апр. 19 г. 2 ч. 35 мин.». Может быть, кто-нибудь подумает,

что это отмечено какое-то важное событие чьей-то жизни — кто-то умер в эти минуты, или родился, или кто-то получил первый поцелуй — все можно подумать. Но я только отметил, когда наступила весна, моя весна.

Затем я осматриваю деревья. На тополях и черемушнике набухают почки, а на березке уже рассыпаны крохотные зеленые крапинки. Так. Осматриваю дерн на клумбах — там тоже что-то зеленеет.

И меня облекают покой и мир, и подступает тихое забвение. Все последние ночи меня что-то жестоко мучило. Я не мог ни спать, ни работать, ни думать, не мог и бездельничать. Я сидел напролет все ночи у окна и хлопал глазами на звезды — у меня не было и мечты. Я переживал мучительное одиночество, а душевная пустота доводила до отчаяния. Может быть, это чувство знают влюбленные — и то не все. Так мучили меня последние ночи, но теперь этого не будет. Покой и мир будут моей стихией с этого дня.

Да, наступила моя весна, и я говорю, молитвенно настраиваясь:

— Благослови, господи, всех... и меня.

Вот-вот, благослови меня. Так и надо молиться, когда нет на душе томлений. А в прошлые дни я не смел так молиться: «Благослови, господи», потому, что это была бы просьба, а потом и молиться-то некому было. Но теперь моя душа наливается чем-то — покоем и миром, может быть, — набухает, как почка, и тянется к чему-то. Там, в душе, все сосуды полны, может быть, там-то и поселился бог, который слышит все, и вот я молюсь ему, как настоящий верующий:

— Благослови всех, господи!..

Ах, как благодатны эти подступы весны, как благодатны! Весна наполняет и кончики моих пальцев: они тоже, кажется, набухают точно-точно так, как почки на деревьях. Эти подступы тянут меня в дикую природу...

В дикую природу? В горы?..

Я сажусь на скамейку и начинаю обдумывать, умиротворенный покоем, неужели я могу пойти в горы? Вот так встану и пойду, как это было в прошлые годы, в те счастливые годы, когда ничто и нигде меня не задерживало, и все и везде было создано только для моего удовольствия? Это было давно. Но нельзя разве и нынче покинуть все и уйти в горы? Впрочем, отчего и нельзя побывать там, раз...

По правде сказать, это решено у меня еще зимою, но меня соблазняет подразнить себя, помечтать о горах так, как будто мне и не удастся больше быть там — когда нет цветов, наслаждаешься искусственным ароматом.

И вот я сижу с закрытыми глазами и вспоминаю о том, что прекрасного там, в горах, в Алтае.

О, там много прекрасного! Там и не видишь, когда наступают и когда проходят весна и лето. Так однажды я не заметил, где и когда встретил весну, где и когда распрощался с нею. Точно совсем она не рождалась в тот год или совсем не покидала меня до самого города, а в город я явился 3 сентября. Впрочем, я тогда был так молод и так свеж и задорен... Но нет, это была все-таки исключительная весна в моей жизни. Тогда я не жил, а — существовал, существовал, как дерево в почве или как белое облако в солнечный день на голубом небе. Это была прекрасная весна, и о ней ничего другого и не скажешь, как только это...

Лучше уж я умолчу о старом...

На ветке скворечника усиленно напевает скворец. Точно он хочет обратить мое внимание, что вот он прибыл домой из дальних путешествий и хочет пожелать мне доброго утра.

— Доброе утро! — говорю я ему. — Я тоже собираюсь путешествовать. Как ты думаешь на этот счет, скворуша?

Он затихает, а я начинаю высчитывать по пальцам — когда пойдут первые пароходы, я перехожу к делу.

* * *

Нет, и теперь во мне поднимаются те же чувства, как и в прежние годы: все в мире существует для моего удовольствия, все в мире.

Вот меня везет пароход, и я думаю, что он снаряжен наспех, а наспех снаряжен потому, что вздумал на нем ехать я, он снаряжен для одного меня. Я, как гений из толщи народа, выбрал для себя самое подходящее и самое простое — маленькую каютку с порванной обивкой дивана, с поцарапанными стенками и столиком и чувствую себя счастливым. Другой каюты мне не нужно — я так хочу. Точно я бриллиант, и меня везет специальный пароход. И мне приятно, и мне хочется петь. Конечно, для того, чтобы быть счастливым, надо уметь подойти к вещи и еще уметь взять ее. А если не удастся ни то, ни другое, благодарить себя за невзыскательность...

Там, за окном, бурая вода с желтыми кусками льда и серые берега, без земли, с темными сугробами снегов в желтых крутоярах. Местами проплывают острова. Они затоплены и на них качаются тревожимые течением тополя. Проплывают одно за другим и селения. Там, за окном, сурово и угрюмо пока, но из серого и холодного я создаю приятные и теплые краски и мне — хорошо. Я счастлив и тут.

По поводу открытия навигации на пристанях настоящие праздники, ярмарки. Все, что нужно для вечно завтракающего и обедающего пассажира, тут есть: калачи, шаньги, пироги с рыбой, молоко, яйца, масло. Там стоит гвалт из-за цен — в этом году цены вскрылись тут тоже праздничными. Но я не люблю шума и почти не схожу на берег. Я не ряжусь, а только прошу с борта какую-нибудь девочку:

— Что у тебя? Молоко, шаньга?.. Неси сюда.

Девочка приносит, я отдаю 20—40 рублей без сдачи и люблюсь ее довольным личиком.

— А груздей надо соленых? — спрашивает она.

— Нет.

— А яиц, а масла, а рыбы? Я принесу.

— Нет, ничего не надо. Можешь и идти, можешь и посидеть у меня тут, как хочешь, — говорю я.

Она уходит несказанно довольная, а я начинаю от полного сердца тихонько напевать. Я не люблю шума...

Но земля богата и человеческими дрязгами. Ангел живет тут рядом с чертом и ведет вечно борьбу. У многих людей есть назначенные сеять зло, и они в этом преуспевают. Я этих людей считаю козлами, допущенными в сад. У них собственная философия и собственная психология, и то, и другое мерзко. И живут они не так, как настоящие люди. О, придет-таки время, когда земля очистится от подобных господ!

Я говорю это об офицерах, о господах офицерах, проливающих кровь, и особенно о колчаковцах — об этом нарыве в наше время и в нашей стране.

Вечером мне захотелось общества. Я прохожу во второй класс, но там — мелкие спекулянты. Они расположились со своими мешками и ведут торговые разговоры. Я не уронил ни одного слова и прошел в первый класс. Бог мой, там полно желторотых офицеров. Куда они едут? О, конечно, в карательные экспедиции, конечно, пороть мужиков. Довольно! Я посмотрелся на проделки этих карателей там, в городе, и совсем не желаю тревожить свою память, чтобы мучиться еще и тут их зверствами по отношению к человеку, к человеку, который хочет таких же праздников, как я... Возродители старой России! Бррр... Долой колчаковцев!.. И я с треском захопываю за собой стеклянную дверь.

Я держу высоко голову и выхожу на палубу — пусть думают что угодно те, там, о человеке, который сердито хлопнул дверью. Они могут арестовать меня? Пусть. Но я знаю и белое, и красное, и мне совсем не безразлично, как живет мое «я» в моем соседе. О, я отнюдь не замурован в свой восторг и покой! Пусть знают это господа офицеры, а я больше не желаю беспокоить себя ими — пусть знают и это.

Я делаю три-четыре конца по палубе. Мое возбуждение проходит: в конце-то концов они достойны одного пренебрежения, не стоят они того, чтобы портить свой вечер. И я спускаюсь в третий класс.

А здесь сразу на меня повеяло милым чернотомом земли — всей землей. Но я все еще под влиянием пережитой мелочи и мне хочется воскликнуть тут: «Вы; там, ученые и умные люди, живущие в граните и электричестве! И все вы, променявшие природу на книги! Пригнитесь к земле, и она одухотворит ваши машинные головы!»

Но я не кричу этого — я не люблю шума. Я присаживаюсь к бородатому человеку и захожу с ним тихие разговоры. Он наивен и

простодушен, особенно его рыжеватая борода во всю грудь. Я разговариваю больше с нею.

Он из тех краев, где однажды прожил я целое лето. Это было лет семь тому назад. Был я там два раза и позднее, но не подолгу. На его глазах проходит жизнь моих знакомых и ему известны все тропы и пасеки, и займки, где бродил я.

— По-прежнему ли живет Григорий Иванович? — спрашиваю я. — Он, наверное, уже старик?

— Григорий Иванович? Нет, он преставился.

— Умер?

— Да. А солдата Федора убили на войне... И Симшу убили. Один Иван остался.

— Господи! — восклицаю я. — Какие перемены!.. Ну, а Наталья-солдатка?

— Солдатка? Хе... Она пошла по рукам... Пропала баба...

— Вот как! — только говорю я.

Он говорит еще о ком-то и о Лавруше, о Лукерье, но я занят прошлым и не слушаю его.

...Солдатка! Все-таки она прекрасный человек. Однажды, когда я собирался уходить с займки, она порезала щечнюшкой мне ногу и таким образом задержала меня на некоторое время около себя. Ее ласки были горячи для меня. Но я все-таки ушел...

— Так, так... — говорю я потом. — А как поживает Ерофей Никитич? Свою торговлю и он, наверное, прикрыл, как все торговцы?

— Торговлю? Он четвертый год не открывает лавки. Он совсем выдохся, пожалуй, и щи варить теперь ему не в чем... Да и сам-то на ладан дышит...

— Он и тогда прихварывал.

— В чем и душа держится — не понять! А сынка-то его ты знаешь?

— Копу? Как же. И дочерей знаю. Я частенько играл у них в трест, варил варенье... Копа, то есть Прокопий!

— Дикой парень, — качается борода. — Вот орудует так орудует! Все в дому вверх дном перевернул, посуду нет... Отца, мать поедом съел, сестер разогнал... Как волк. К ним и родня-то уж не ходит.

Как все изменилось, точно тридцать лет прошло. И эта Наталья! Помнит ли она меня? И не обернется ли она снова к богу, и не станет ли по-прежнему чистой и хорошей, если я напомню ей о себе? Она дарила мне хорошие вечера...

— Значит, жизнь-то у вас идет все-таки, — говорю я. — У вас там ни войн, ни революций не было, а все же двигаетесь за ними... Я, собственно, туда и иду, к вам...

Я ухожу от бородатого человека поздно ночью и уношу воспоминание об одной жен-

щине. Я брожу целый час по своей каютке, присаживаюсь на диван и опять брожу. Мне ни разу не вспоминаются ни офицеры, ни спекулянты. А когда лег спать, увидел ее, Наталью.

— Благослови, боже, и хорошие сны...

* * *

Я вконец уподобляюсь божьему страннику: все время «молюсь», я стал широк и полон, а вся земля — мои заповедные луга и рощи. Там, в небе, есть другой, подобный мне странник, но тот, видимо, шумен и огнен, и он покровительствует мне: греет меня и освещает мне путь ярким солнцем. Я бы хотел знать существо того странника.

Вот так я мечтаю и думаю, шагая по дороге к горам.

Широкие степи, досиня уходящие вдаль, поят меня мудростью. Синие верхушки гор там, за несколько десятков верст впереди, тоже обещают мудрость. И по земле, и по небу разлита тишина. Вправо и влево видны проливающие над землей пот мужики. Пришел для них тяжелый трудовой праздник, и они ходят за плугами, потчуют улыбками черные пласты земли. Они не могут не быть мудрыми и не могут не быть счастливыми. Но они суеверны, как древние пророки, и мудрости, и счастья ищут в земле. Их острие мысли — кончик лемеха, их книги — черные полосы: тут и религия, и философия, и поэмы. Если не хотите, чтоб умер мужик, не отбирайте у него плуга.

Но тут я ловлю себя и начинаю смеяться: все это ерунда, чушь. Мужик, философ, бог, дикарь — это одно, а ценность мозгов каждого зависит от их развития. И мужик не умрет, если его воспитать рационально.

Дело в том, что все мы хотим быть богами. Будет время, когда в нагрудном кармане моей тужурки будут лежать две маленькие трубочки. Мне приходит фантазия узнать, что творится в мире, и я вынимаю трубочки и всовываю их в уши: «Алло! Сан-Франциско. Из Читы прибыл дредноут воздушного плавания L-62». Хорошо. Не интересно. «Алло. Пулковое. Сегодня подвергался новому опыту принцип приема радиogramм с Марса на все станции». Голоса сфер? А разве мои трубки не будут слушать Марса? Но дальше. «Архангельск. Агроном Буторин утверждает, что сбор винограда в этом году будет обильным»... Скучно. Я вынимаю из ушей трубки и прячу их в карман. Моя фантазия бедна, но и она уносит меня за пределы предельного. Тут, среди степей, я начинаю чувствовать себя чуточку поэтом, а поэты такие лгуны и

фантазеры! Они даже могут взрывать себя. Они уверяют, что и поэзия-то не существует, что нет никакого искусства, а только одна философия. После них выспаться хорошо следует...

К вечеру я прихожу к перевозу. Река тут идет в трубе и настолько узка, что можно перекрикиваться с берега на берег. Тут она и весной не выходит из берегов. Бурные воды полны и спокойны, тяжелы. Если долго смотреть на течение, почему-то думается о каком-то толстом человеческом животе. Натянутый с берега на берег канат, взбрасываемый течением, беспрестанно хлопает по этому толстому животу.

— Эгей-гей! — кричат с той стороны люди. — Подавай паро-ом...

Там телеги четыре, а здесь один мужик с возом да я. Оба паромщика сидят у избушки, покуривают трубки и — ноль внимания на крики с того берега, они с невозмутимым спокойствием рассуждают о перемете, поставленном на ночь, попадутся ли шуки и в эту ночь. А солнце уже зашло за рощу — раскраснело и рдяным оплеснуло запад. Ни до чего чужого им нет дела, так они привыкли на большой дороге.

Но вот еще подъезжает к нам толпа и еще. Тогда паромщики встают, прячут в карманы трубки и готовят паром. Воз погружает один бок парома глубоко в реку, другие телеги устанавливают равновесие, и мы поехали, не поехали, а полетели, перелетели: взвизгнул блок, и вот какая-то чудодейственная сила перекинула нас на другой берег.

Пока выгружаются телеги, я стою на песчаном холмике и решаю задачу: могу ли я идти до наступления тьмы в деревню или не могу. Она в пяти верстах отсюда, но по дороге болото — и весенние они, и, кроме того, хотя деревня знакома мне, но знакомых в ней нет, кому бы я мог в ночь-полночь постучать в ворота, как в собственные. Теперь не старое наивное время! При безудержном сыске и подозрениях теперь очень легко можно попасть на неудобный ночлег где-нибудь при сельской сборне или на квартире урядника. Остается одно: попросить хотя бы мужика с возом принять меня к себе в компанию.

И вот я направляюсь к мужику с порожней телегой. Он и еще другой мужик стоят против паромщика и рассчитываются за перевоз.

— Не довезете ли меня до деревни? — спрашиваю я мужика. — У меня, видите ли, разболелась нога и...

— А я, милый сын, тут ночую... На лужке... — говорит он тепло, сибирским говорком. — Разве вот он...

— И я тут, — отвечает и другой мужик.

— Вот как! Тогда и я ночью с вами.

— А милости просим, лужок-то широк... Каждую ночь на нем гости-ночлежники.

И вот в сумерках мы трое сидим у костра и ждем, когда вскипит чай в котелке.

Зелень еще так мала, что нет никакого смысла пугать лошадей. Они стоят каждая у своей телеги и хрумкают сено. Костер освещает у одной лысую голову с большими белыми глазами, у другой — половину бока и хвост. Телеги придвинулись задними колесами вплотную к медному свету, а передками ушли куда-то далеко, на самый луг. А кругом — ночь и звезды. Природа!..

С мужиками я переговорил обо всем, что интересовало их. Нет, я не прячусь от правосудия, и я не дезертир. У меня имеются свидетельства о том, что мне дано 3 месяца для отдыха, есть и докторское удостоверение о моих слабых легких. А так как я беден — и порядком, то и иду к своим знакомым на Алтай пешком. Нет, ради бога не думайте, что из-за меня к вам может привязаться неприятность!

— Видишь ли, мы-то в стороне, да тебя жалко, — говорит сибиряк. — Время-то теперь... со своей бабой и то ухо остро держи: донесет — и порка... Похаживает она, матушка, теперь по нашей спиннушке.

— Плетка?

— Нет... баба...

И оба мужика смеются.

Но сибиряк опять наливается грустным, чем-то благородным и покорным и вздыхает:

— А этих большевиков поди уж и на поглядку-то не оставили, хоть бы на приплод сохранили... Как чуть где выкопнут какого — и к стенке... Вот времена настали, вот времена!.. На прошлой неделе нашего Кузьму, племянника Савелия Андреича, — и того... А какой большевик Кузьма?! И гроза его — что только того же Савелия Андреича за бутылкой доносчиком назвал... За пуст-речь расстреляли парня!

Природа и люди!..

Ах, меня теперь ничем не удивишь, милый человек, и не зажжешь во мне буйного безумия. Может быть, я когда-нибудь пережил такое безумие во сне, а теперь только впитываю ужасы, одни ужасы. И они делают меня спокойным, как дикаря-людоеда. А может быть, как все, и я страдаю тихим безумием и жду, когда наступит черная ночь и в ней утонет душа. Всего можно ждать. Я знаю, как в одном месте хоронили живого человека: его несли родные на руках в гробу, а впереди шел поп с кадиллом и пел: «Аллилуйя». Так и принесли на кладбище и похоронили живого, а

потом солдаты выстрелами разогнали народ... Знаю, как повешенного тянули за ноги до тех пор, пока у него, у мертвого, не осталась в петле одна голова... Ух!..

Я вскакиваю и ухожу от костра в темную ночь. Я быстро пересекаю дорогу и сквозь кусты продираюсь к реке. На крутояре, взглянув на бледное поле перед собой, я вспоминаю толстый живот. Эта бесстыдная нагота реки прикрылась теперь черным пологом и спит.

Но я забываю тотчас же это и тотчас же иду обратно. С дороги я вижу костер, телеги и людей. Котелок все еще висит над огнем. Мне можно уже идти туда — я спокоен. Но я хочу быть еще и веселым, ведь и во времена инквизиции люди находили удовольствие жить и даже знавали счастье. Я поворачиваюсь лицом к перевозу и тихонько шагаю по дороге.

Тут, в нескольких шагах от берега, я видел давеча черный крест и на нем длинную полинялую надпись. Я подхожу к кресту и вспоминаю, что там написано. А там написано о том, как в таком-то году пал на этом месте мученической смертью убиенный почтальон такой-то и такой-то от рук разбойников и грабителей. Благословенное время, когда убийство потрясло мир, а убитый за чужие грехи причислялся к сонму мучеников! Благословенное время!.. Благословенно и время грядущее, когда не будет ни судей, ни подсудимых!

Нет, я не развеселился этим, но у меня осталась покойная тоска. С ней хорошо. И я иду к мужикам. Они уже пьют чай, разговаривают о том о сем. У одного нашлась запасная чашечка, а у меня сахар, и вот мы сидим, угощаемся до поздней ночи.

Наконец все закончено, пора ложиться спать. Сибиряк сразу же свалился и захрапел. Он не избалован удобствами, у него ничего нет ни под головой, ни под боком, он спрятался в широком озяме, точно в футляре, и захрапел. Мне так же предстоит спать в своем летнем пальто, хотя ночь стала холодновата. Но другой мужик все ходит кругом телеги и постанывает. Наконец он стаскивает с телеги мешок, набитый какими-то длинными кусками, и кладет под голову. Ему неловко, голова стоит торчком, а сам лежит, но другого положения он не хочет принять.

— Вы бы уж лучше оставили мешок-то, — говорю я ему. — У вас заболит шея.

— Нельзя, — говорит он.

— Разве у вас там драгоценности, что кладете под голову?

— Есть малую толику, — отвечает еще он, совсем как купец. — Ведь тут товар! Мануфактура!..

Чудеса за чудесами! Как изменили людей эти годы! Вот уж поистине теперь-то чужая душа — потемки...

* * *

И вот я опять на ногах, опять широкий странник и опять иду к синим горам. Солнце обливает сбоку меня всего, обливает всю степь — кругом золотой туман, а в нем покрикивают пахари. Из-под ног вспыхивает холодная пыльца. Вот, вероятно, какой-то жук переполз дорогу — оставил бисер следа и ушел гулять в соседние поселения. Такая благодать для жучков, мышек и ежей эти весенние ночи! В небе один хор жаворонков. А я иду и иду. Я останавливаюсь, закусываю, отдыхаю, ночую и опять иду. И все время чувствую, что хорошо живет степь и хорошо живут в степи люди, и хорошее небо, а меня нет. Я сделался легок и пространен, я впитался во все тут и в меня впиталось все, и вот я перестал чувствовать ноги, руки, глаза, уши, и я никуда не спешу. Попросту меня облекла великая лень земли и мне хочется лечь в стороне от дороги и лежать сто лет. Но — закон движений! В моей груди разгорается и разгорается горн. Совсем не важна мне степь. Ее покой слишком покоен. Она лежит, как свежеиспеченный каравай, и туманит голову запахами насущного. Если бы были у меня крылья, я взвился бы теперь и полетел в горные вершины. Вот как разгорелся горн!.. А там опять, может быть, появилось бы желание лечь на сто лет в тени кедра или еще куда-нибудь пойти — это дело настроения...

А горы все придвигаются и придвигаются ко мне. Я уже могу легко разглядеть — леса ли покрывают вершины

или голы они, утесисты и на скалах блещет солнце. Вот я вступил на первые холмы и увидел первые обнажения горных пород. В одном месте я присаживаюсь на камень, собираю мелкие камешки и начинаю определять их. Но я не силен в геологии. Да и не нужно мне знать, что у меня в руках — гранит ли, порфир или, может быть, самородок золота, облеченный в каменный кожух. Для меня все камни равны в ценности, и я сдуваю с них пыль и целую попеременно все три камешка... Но тут у меня появляется слеза восхищения, и я кладу камешки в карман тужурки. Я не знаю причины восхищения, но я и смеюсь, и плачу, и даже приплясываю, вздымаясь на перевал...

А потом спустился к речке, к самой настоящей горной речке, которая шумит и пенится. Тут подобие ущелья — с утесами и с балками. А когда снова поднялся на перевал, передо мной открылась изумрудная, жемчужная и алмазная панорама долин, лесов и белков Алтая.

Мне надо идти еще два дня до того селения, где хочу пожить. Но я знаю, ничего не удастся мне рассказать об этих двух днях. Так тут много солнца, и много аромата, и много легенд в каждой роще и в каждом камне!.. Не рассказать мне — я задыхаюсь полнотой событий каждой минуты. И я свертываю свою записную книжку и прячу ее в сумку, где лежат пока ненужные вещи — мыло и бритва, и еще пара белья. Не нужна записная книжка там, где все выше искусства. Не рассказать мне...

Был полдень какого-то числа и какого-то месяца весны, когда я вошел в Алтай...

24/XII—20 г.